

(212-226)

Приключение

Каждая часть наших действий и нашего опыта имеет двойное значение: она вращается вокруг своего центра и содержит столько широты и глубины, радости и страдания, сколько ей придает ее непосредственное переживание; но одновременно она является и отрезком жизненного процесса и есть не только заключенное в границы целое, но и член организма. Обе эти ценности определяют каждое содержание жизни в его многообразной конфигурации: события, которые по своему значению могут быть очень сходными, оказываются весьма различными по своему отношению к жизни в целом; и наоборот, при таком различии, которое даже не позволяет их сравнивать, они могут быть совершенно одинаковы по своей роли в качестве элементов общего существования. Если одно из двух незначительно отличающихся друг от друга переживаний ощущается как «приключение», а другое как таковое не ощущается, то это происходит вследствие их различного отношения к нашей жизни в целом.

Форма приключения в самом общем смысле состоит в том, что оно выпадает из общей связи жизни. Под целостностью жизни мы понимаем то, что через ее отдельные содержания, как бы резко и непримиримо они ни отличались друг от друга, совершает свой круговорот единый жизненный процесс. Сцеплению звеньев жизненной цепи, чувству, что через все эти противоположные движения, эти изгибы, эти узлы тянется единая непрерывная нить, противостоит то, что мы называем приключением; это действительно часть нашего существования, к которой непосредственно примыкают находящиеся перед ней и после нее другие его части, — но вместе с тем эта часть существования по своему глубокому значению находится вне непрерывности остальной жизни. И все-таки она отличается от просто случайного, чуждого, касающегося лишь поверхностного

[212]

слоя жизни. Выпадая из связи жизни, приключение как бы именно посредством данного акта — это постепенно станет ясно — вновь попадает в нее; это чуждое нашему существованию тело тем не менее как-то связано с центром. Внешнее,

следуя далеким и непривычным путем, становится формой внутреннего. Вследствие такой душевной настроенности, приключение принимает в воспоминании оттенок сновидения. Каждому известно, как легко мы забываем сны, ибо они также оказываются вне осмысленной связи целостной жизни. Называемое нами «грезящимся» не что иное, как воспоминание, связанное меньшими нитями, чем остальные переживания, с единым непрерывным процессом жизни. Мы в известной степени локализуем нашу неспособность ввести переживание в этот процесс посредством представления о сновидении, в котором будто бы происходило пережитое нами. Чем авантюристичнее приключение, чем более чисто, следовательно, оно выражает свое понятие, тем ближе оно к сновидению; в нашем воспоминании оно подчас настолько далеко отодвигается от центрального пункта Я и связываемого им процесса жизни в целом, что нам легко представить себе приключение как пережитое другим; его отдаленность от целого, его чуждость ему находит свое выражение в нашем ощущении, будто то, что мы пережили, связано не с нами, а с другим субъектом.

Приключение имеет в значительно более определенном смысле, чем другие содержания нашей жизни, начало и конец. В этом состоит его свобода от переплетений и сцеплений, оно обладает собственным центром. Мы ощущаем, что событие дня и года кончилось, тогда или потому, что началось другое, они взаимно определяют свои границы, и в этом формирует или высказывает себя единство жизни.

Приключение же как таковое по самому своему смыслу не зависит от предшествующего и последующего, определяет свои границы независимо от них. Именно там, где непрерывная связь с жизнью столь принципиально отвергается, — или ее, в сущности, даже незачем отвергать, ибо нам изначально дано здесь нечто чуждое, ни к чему не примыкающее, некое бытие вне определенного ряда, — мы говорим о приключении. Оно не связано с взаимопроникновением, с соседними отрезками жизни, которые превращают жизнь в целостность. Приключение подобно острову в море жизни, определяющему свое начало и свой конец в соответствии с собственными формирующими силами, а не как часть континента — в зависимости от таких сил по эту и по ту ее сторону. Эта твердая ограниченность, посредством

которой приключение возвышается над общей судьбой, носит не механический, а органический характер. Так же, как организм определяет свою пространственную форму, исходя не из того, что он справа и слева наталкивается на препятствия, а следуя движущей силе изнутри формирующейся жизни, и приключение кончается не потому, что начинается нечто другое; его временная форма, его радикальное завершение есть полное выражение его внутреннего смысла. Это прежде всего объясняет глубокую связь между приключением и художником, а быть может, и склонность художника к приключениям. Ведь сущность художественного произведения заключается в том, что оно вычленивает из бесконечных непрерывных рядов созерцания и переживания некий отрезок, освобождает его от всякой связи с тем, что находится по эту и по ту его сторону и придает ему самодостаточную, как бы определенную и сдерживаемую внутренним центром форму. Общей формой художественного произведения и приключения является то, что они как часть существования, входящая в его непрерывность, все-таки ощущаются как целое, как замкнутое единство. И вследствие этого то и другое при всей односторонности и случайности их содержаний ощущаются так, будто в каждом из них каким-то образом выражена и исчерпана вся жизнь. И не менее полно, а совершеннее это происходит потому, что художественное произведение вообще находится вне жизни как реальности, а приключение — вне жизни как непрерывного процесса, связывающего каждый элемент с соседними ему элементами.

Именно потому, что художественное произведение и приключение противостоят жизни (хотя и в очень различном значении этого противостояния), и то и другое аналогичны целостности самой жизни так, как она предстает в кратком и сжатом переживании сна. Поэтому искатель приключений — самый яркий пример неисторического человека, существа, пребывающего в настоящем. Он, с одной стороны, не определен прошлым (что связано с его противоположностью старости, — это будет рассмотрено ниже), с другой — для него не существует будущего. Весьма красноречивым примером этого факта служит то, что Казанова, как мы узнаем из его мемуаров, несколько раз в течение своей полной эротических приключений жизни серьезно намеревался жениться на той женщине, которую он в данный момент любил. Ничего более противоречащего натуре Казановы и его образу жизни, внутренне и внешне невозможного нельзя себе представить. Между тем Казанова был ведь прекрасным знатоком не только человеческой природы вообще,

но, очевидно, и собственной, и хотя он должен был понимать, что не выдержит брак и двух недель и что самые бедственные последствия этого шага совершенно неизбежны, — но опьянение моментом (причем я хотел бы поставить акцент больше на момент, чем на опьянение) как бы полностью поглощало перспективу будущего. Потому, что он был полностью подвластен чувству настоящего, он хотел вступить на будущее в связь, которая именно вследствие его подвластной настоящему природы была невозможна.

Изолированное и случайное может обладать необходимостью и смыслом — именно это определяет понятие приключения в его противоположности всем сторонам жизни, которые только вводят на ее периферию покорность велениям судьбы. Приключение становится таковым лишь посредством двойного смысла — оно есть образование, в себе установленное посредством начала и конца некоего значимого смысла и со всеми своими случайностями и своей экстерриториальностью по отношению к континууму жизни оно тем не менее связано с сущностью и назначением своего носителя в широком, возвышающемся над рациональными рядами жизни значении и в таинственной необходимости. В этом проявляется близость искателя приключений к игроку. Игрок, правда, зависит от бессмысленного случая; однако поскольку он рассчитывает на его благосклонность, считает обусловленность своей жизни этим случаем возможной и реализуемой, случай предстает ему в тесной связи со смыслом. Типичное для игрока суеверие не что иное, как осязаемая и изолированная, но поэтому и ребяческая форма этой глубокой и всеохватывающей схемы его жизни, согласно которой в случайности заключен смысл, заключено необходимое, хотя и не соответствующее законам рациональной логики значение. Посредством суеверия, которое заставляет игрока с помощью примет и магических средств втягивать случай в свою целевую систему, он лишает случай его недоступной изолированности и ищет в нем протекающий по законам, правда, фантастическим, но все-таки законам, порядок. Таким образом, искатель приключений исходит из того, что случай, находящийся вне единого, подчиненного некоему смыслу жизненного порядка, все-таки этим смыслом как-то охвачен. Он привносит центральное чувство жизни, которое проходит через эксцентричность искателя приключений, и именно в далекой дистанции между своим случайным, извне данным содер-

жанием и единым, придающим смысл центром существования создает новую, полную значения необходимость своей жизни.

[215]

Между случайностью и необходимостью, между фрагментарностью внешних данностей и единой значимостью изнутри развивающейся жизни в нас идет вечный процесс, и крупные формы, в которые мы заключаем содержания жизни, суть синтезы, антагонизмы или компромиссы этих двух главных аспектов. Приключение — одно из них. Если профессиональный искатель приключений создает из бессистемности своей жизни некую систему жизни, если он ищет голые внешние случайности, исходя из своей внутренней необходимости, и вводит в нее эти случайности, он лишь делает макроскопически зримым то, чем является сущностная форма каждого «приключения» даже для неавантюристического по своему характеру человека. Ибо под приключением мы всегда имеем в виду нечто третье, находящееся вне как просто внезапного события, смысл которого остается для нас внешним, — он и пришел извне, — так и единого ряда жизни, в котором каждый член дополняет другой для создания общего смысла. Приключение не есть смешение обоих, а особо окрашенное переживание, которое можно толковать только как особую охваченность случайно-внешнего внутренне-необходимым.

Однако в некоторых случаях все это отношение охватывается еще более глубоким внутренним образованием. Как ни основано приключение на различии внутри жизни, жизнь в качестве целого также может ощущаться как приключение. Для этого не надо быть искателем приключений или пережить множество приключений. Тот, кто обладает такой установкой по отношению к жизни, должен чувствовать над ее целостностью некое высшее единство, как бы сверхжизнь, которое относится к ней, как непосредственная тотальность жизни к отдельным переживаниям, служащим нам эмпирическими приключениями. Может быть, мы принадлежим к метафизической сфере, может быть, наша душа живет в трансцендентном бытии таким образом, что наша сознательная земная жизнь не более чем изолированный отрезок некоей неизреченной связи совершающегося над ней существования. Миф о перевоплощении душ представляет собой, быть может, робкую попытку выразить этот сегментный характер каждой жизни. Тот, кто ощущает на протяжении всей реальной жизни тайное вневременное

существование души, которая связана реальностями только как бы издали, воспримет жизнь в ее данной и ограниченной целостности по отношению к той трансцендентной и единой в себе судьбе, как приключение. Этому как будто способствуют известные религиозные настроения. Там, где наш земной путь рассматривает-

[216]

ся лишь как предварительная стадия в выполнении вечных законов, где признается, что Земля для нас лишь преходящее пристанище, а не родина, там перед нами, очевидно, лишь особая окраска общего чувства, согласно которому жизнь как целое есть приключение. Этим только выражено, что в жизни концентрируются симптомы приключения, что она находится вне подлинного смысла и неизменного процесса существования и все-таки связана с ним роком и тайной символикой, что она — фрагмент и случайность и все-таки, имея начало и конец, завершена как художественное произведение, что она подобно сновидению соединяет в себе все страсти и также, как оно предназначена быть забытой, что она как игра отделяется от серьезности и тем не менее как *va banque** игрока стоит перед альтернативой наибольшего выигрыша или уничтожения.

Синтез великих категорий жизни, особой формой которого является приключение, совершается между активностью и пассивностью, между тем, чего мы достигаем, и тем, что нам дано. Правда, в приключении такой синтез позволяет ощущать противоположность этих элементов особенно сильно. С одной стороны, в приключении мы насильственно вовлекаем в себя мир. Это становится особенно очевидным из различия с тем, как мы обретаем его дары в труде. Труд находится как бы в органическом отношении к миру, он постоянно развивает его материал и силы, обрабатывая их для целей человека, тогда как отношение приключения к миру не органическое; оно приходит как завоеватель, быстро пользуется представившимся шансом, независимо от того, извлекаем ли мы этим гармоническое или негармоническое приобретение для себя, для мира или для отношения между тем и другим. Но, с другой стороны, в приключении мы брошены на волю случая без защиты, без резервов — в большей степени, чем во всех тех отношениях, которые связаны множеством мостов со всей нашей жизнью в мире и поэтому защищают нас от хаоса и опасностей предуготовленными

способами уклонения и приспособления. В переплетении деятельности и страдания, в котором проходит наша жизнь, достигают своего напряжения элементы, ведущие одновременно к овладению, чему мы обязаны лишь собственной силе и присутствию духа, и к полной покорности властям и шансам мира, способным нас осчастливить, но и уничтожить. В том, что единство, в котором мы ежеминутно пребываем, сочетая

[217]

активность и пассивность в нашем отношении к миру, — это единство, собственно говоря, и есть в известном смысле жизнь, — доводит свои элементы до столь крайнего обострения, и тем самым, будто они являются лишь двумя аспектами одной и той же таинственно нераздельной жизни, заставляет глубже ощущать себя как единство, и состоит одно из удивительных очарований, служащих для нас соблазном в приключении.

Нечто большее, чем рассмотрение того же основного отношения под другим углом зрения, происходит, когда приключение представляется скрещиванием момента уверенности с моментом неуверенности, присущими жизни. Уверенность, которую мы, оправданно или неоправданно, ощущаем в нашей вере в успех, придает нашим действиям качественно особую окраску: напротив, если мы не уверены, достигнем ли мы той цели, к которой устремились, если мы знаем о своем незнании успеха, то это ведет не только к качественному снижению уверенности, но означает также внутреннее и внешнее изменение наших практических действий. Другими словами, искатель приключений относится к неопределимому в жизни так, как мы относимся к тому, что может быть с уверенностью определено. (Поэтому философ — искатель приключений в области духа. Он предпринимает безнадежную — но поэтому не бессмысленную — попытку выразить в познавательных понятиях жизнь души, ее настроенность по отношению к себе, к миру, к Богу. Он рассматривает эту неразрешимую задачу так, будто она разрешима.) Там, где сплетения непознаваемых элементов рока делают сомнительным успех наших действий, мы обычно ограничиваем использование наших сил, сохраняем открытым путь отступления, делаем, как бы пробуя, отдельный шаг. В приключении мы действуем прямо противоположно: мы делаем ставку на колеблющийся шанс, на судьбу и неопределенность, мы ставим

* В карточной игре термин, означающий решение все поставить на карту (франц.).

все на карту, рушим мосты за нашей спиной, вступаем в туман, исходя из уверенности, что путь при всех обстоятельствах должен привести нас к цели. Таков типичный фатализм искателя приключений. Конечно, и для него темный покров судьбы не более прозрачен, чем для других, но он действует так, будто для него он прозрачен. Своеобразная решительность, с которой он покидает прочные устои жизни, создает в известной степени для своего оправдания чувство уверенности в неминуемом успехе, которое обычно связано только с прозрачными вследствие своей определяемости событиями. Это лишь субъективная разновидность фаталистической убежденности в том, что неведомая нам наша судьба неминуемо нам предназ-

[218]

начена, что искатель приключений считает себя уверенным в своей подчиненности этому непознаваемому; поэтому трезвому человеку часто представляются безумными действия искателя приключений, ибо, чтобы иметь смысл, они должны исходить из того, что непознаваемое познается. О Казанове принц де Линь сказал: «Он ни во что не верит, разве только в то, что наименее вероятно». Очевидно, что в основе этого лежит искаженное, или во всяком случае «авантюристическое», отношение между известным и неизвестным. Коррелятом этому служит, без сомнения, скептицизм искателя приключений — то, что он «ни во что не верит»: для того, кому невероятное представляется вероятным, вероятное легко становится невероятным. Искатель приключений полагается, правда, в некоторой степени на собственную силу, но прежде всего на свое счастье, в сущности же на странным образом недифференцированное единство того и другого. Сила, в которой он уверен, и счастье, в котором он неуверен, субъективно соединяются в нем в чувство уверенности. Если сущность гения состоит в обладании непосредственным отношением к тайным единствам, которые посредством опыта и рассудочного расчленения распадаются на совершенно обособленные явления, то гениальный искатель -приключений, руководствуясь неким мистическим инстинктом, пребывает в той точке, где мировой процесс и индивидуальная судьба еще как бы не дифференцировались друг от друга; именно поэтому в искателе приключений часто легко проявляется своего рода оттенок «гениальности». Эта особая констелляция, в которой он делает такой же предпосылкой своих действий самое ненадежное,

неопределяемое, как другие люди — только определяемое, объясняет «уверенность лунатика», проявляемую искателем приключений в своей жизни; своей непоколебимостью по отношению к каждому опровержению она доказывает фактами, насколько глубоко эта констелляция коренится как предпосылка в жизни подобных натур.

Если приключение — форма жизни, которая может быть осуществлена в непредсказуемой полноте содержаний жизни, то упомянутые определения делают понятным, что такую форму должно прежде всего принимать содержание эротическое — и в нашем словоупотреблении под приключением понимаются преимущественно приключения эротического характера. Впрочем, ограниченное во времени любовное переживание отнюдь не всегда может быть названо приключением, с этим количественным моментом должны сочетаться особые душевные свойства, в взаимопересечении которых

[219]

состоит приключение. Их тенденция к такому сочетанию станет постепенно очевидной.

В любовном отношении отчетливо содержатся те два элемента, которые соединяются в форме приключения: овладевающая сила и непринуждаемая покорность, успех, достигнутый собственными возможностями, и зависимость от счастья, которое дается нам милостью того, что недоступно нашему определению, пребывает вне нас. Известная эквивалентность этих направленностей внутри переживания, полученная на основе их резкой дифференциации, быть может, существует только у мужчины; быть может, потому доказано, что, как правило, любовная связь только для мужчины становится по своему значению «приключением», для женщины же она обычно подпадает под другие категории. Активность женщины в возникающем романе уже типически пронизана пассивностью, данной ей природой или историей; с другой стороны, ее восприятие и ощущение счастья являются непосредственной покорностью и даром. Оба, выражаемые в очень разных оттенках полюсы — овладение и милость — связаны для женщины более тесно; для мужчины они расходятся более решительно, и поэтому их сочетание придает для него эротическому переживанию отпечаток «приключения». То, что мужчина является бурной, нападающей, подчас неистово овладевающей стороной, легко приводит к тому,

что в каждом эротическом переживании, какой бы характер оно ни носило, упускают из виду момент судьбы, зависимость от того, что не может быть предвидено и не поддается принуждению. Здесь имеется в виду не только зависимость от согласия другого участника любовной связи, но нечто более глубокое. Конечно, взаимность в любви всегда дар, который не может быть «заслужен» даже большой любовью, так как любовь не подвластна требованиям и сравнениям и в принципе относится к совсем иной категории, чем сравнение чувств сторон, — в этом пункте проявляется одна из аналогий любви глубокому религиозному чувству. Между тем сверх того, что мы получаем от другого в виде всегда свободного дара, в счастье любви заключена — как глубокая безличная основа этого личного чувства — также и милость судьбы: мы получаем это счастье не только от другого, то, что мы его получаем, есть милость не подлежащих определению сил. В самом гордом, самоуверенном отношении к событию в этой области заключено нечто, требующее от нас смирения. Однако соединением силы, обязанной своим успехом самой себе, всегда придающей успеху в любви оттенок победы и триумфа, с упомянутой милос-

[220]

тью судьбы в известной степени преобразована констелляция приключения.

Отношение эротического содержания к более общей форме приключения коренится в глубокой основе. Приключение — это эксклав жизненной связи, оторванность, чье начало и конец не сопричастны единому течению существования, — и вместе с тем оно все-таки как бы вне этого течения и, не нуждаясь в его опосредствовании, связано с самыми тайными инстинктами, с последним намерением жизни вообще и отличается этим от случайного эпизода, от того, что просто внешним образом «случается». Там, где любовные отношения ограничены кратким временем, они также существуют в этом сплетении поверхностного и все-таки центрального характера. Пусть такая любовь и придаст нашей жизни лишь мгновенное сияние, подобно лучу, который бросил в помещение промелькнувший свет; этим все-таки будет удовлетворена потребность, вернее это вообще возможно лишь при наличии определенной потребности, которая — назовем ли мы ее физической, душевной или метафизической — существует как бы вне времени в основе или в центре нашего существа и связана с данным мимолетным переживанием так же, как случайное и

сразу исчезнувшее освещение — с нашим желанием света вообще. Наличие такого двойственного отношения в эротике отражено и в ее двойственном временном аспекте: два периода в эротической связи — период растущего, затем резко падающего упоения и период непреходящести, в идее которой находит свое выражение во времени мистическая предназначенность двух душ друг для друга и для высшего единства, — можно сравнить с двойным существованием духовных содержаний, которые, правда, только внезапно появляются в мимолетном душевном движении, в стремящемся вдаль фокусе сознания, но логический смысл которых обладает вневременной значимостью, идеальным значением, совершенно независимым от того момента сознания, в котором оно становится действительным для нас. Феномен приключения с его резкой подчеркнутостью, которая сдвигает конец в предел зримости начала, и с его одновременной связью с жизненным центром, которая отделяет его от просто случайного происшествия и без которой «опасность для жизни» не была бы присуща приключению, — этот феномен является той формой, которая своей временной символикой как бы предназначена для эротического содержания.

Эти аналогии и общие формы любви и приключения уже сами по себе показывают, что приключения не соответствуют

[221]

стилю жизни старых людей. Решающим для этого факта вообще служит то, что приключение по своей специфической сущности и своим соблазнам является *формой переживания*. *Содержание* само по себе еще не составляет приключения: пре одоление опасности для жизни, обладание женщиной в счастливые минуты, поразительный выигрыш или проигрыш, которые принесли неизвестные факторы, побудившие решиться на игру, вхождение в физической или душевной маскировке в такие сферы, из которых к привычной жизни возвращаются, как из чуждого мира, — все это еще необязательно должно быть приключением; таковым оно становится только вследствие известной напряженности жизненного чувства, которое ведет к осуществлению этих содержаний; лишь в том случае, если поток, текущий в ту и другую сторону между самым внешним в жизни и центральным источником силы, втягивает эту внешнюю сторону жизни в себя и если особая окраска, температура и ритмика жизненного процесса становятся подлинно решающими, в известной степени звучащими сильнее *содержания* этого

процесса, событие превращается из простого переживания в приключение. Этот принцип акцентирования не свойствен старости. Только молодости ведом в общем такой перевес жизненного процесса над содержаниями жизни, тогда как в старости, когда этот процесс начинает замедляться и застывать, главным становятся содержания, которые протекают или пребывают в своего рода вневременности, индифферентности по отношению к темпу и страсти их переживания. В старости обычно ведут либо совершенно централизованную жизнь, при которой периферийные интересы отпадают и не связаны более с сущностной жизнью и с ее внутренней необходимостью, либо происходит атрофия центра, существование проходит только в изолированных мелочах и подчеркнутой важности внешнего и случайного. В обоих этих случаях отношение между внешней судьбой и источником внутренней жизни, которое и составляет приключение, невозможно, в обоих случаях не может возникнуть ощущение контраста, связанного с приключением, ощущение того, что действие совершенно вырвано из общей связи жизни и тем не менее вбирает в себя всю ее силу и интенсивность. Эту противоположность между молодостью и старостью, вследствие которой приключение становится прерогативой первой и которая в первом случае акцентирует жизненный процесс, его метр и его антиномии, во втором — содержания, для которых переживание всегда является чем-то большим, чем относительно случайная форма — эту противоположность можно

[222]

представить и как противоположность между романтическим и историческим восприятием жизни. Для романтической настроенности все дело в жизни, в ее непосредственности, следовательно, и в индивидуальности каждой ее формы, ее «Здесь» и «Теперь»; эта настроенность больше всего ощущает полную силу жизненного потока именно в очерченности вырванного из обычного течения жизни переживания, к которому все-таки протягивается нерв от сердца жизни. Весь этот бросок жизни из самой себя, эта дистанция в напряженности проникнутых ею элементов может питаться только избытком и озорством жизни, существующими лишь в приключении, в романтике и в молодости. Старости же, если она сохраняет как таковая характерную, достойную, собранную манеру поведения, свойственно историческое восприятие. Расширяется ли оно до мировоззрения или интерес ее ограничивается непосредственно собственным прошлым, она во

всяком случае направлена в своей объективности на ретроспективное размышление, на картину жизненных содержаний, из которых сама непосредственность жизни исчезла. История как картина в узком научном смысле всегда возникает посредством такого преобладания содержаний над невыразимым, только переживаемым процессом их настоящего. Связь, которая была установлена между ними этим процессом, распалась и должна быть ретроспективно установлена в своей идеальной образности посредством совершенно иных нитей. С этим перемещением акцента исчезает вся динамическая предпосылка приключения. Его атмосферой является, как я уже указывал, безусловность настоящего, концентрация жизненного процесса в пункте, который не имеет ни прошлого, ни будущего и поэтому содержит в себе жизнь в такой интенсивности, по сравнению с которой материал событийности часто становится безразличным. Подобно тому как для подлинного игрока решающим мотивом служит совсем не выигрыш, исчисляемый тем или иным количеством денег, а игра как таковая, власть переходящего от счастья к отчаянию и обратно чувства, как бы осязаемая близость демонических сил, выносящих свое решение в пользу того или другого, — так и очарование приключения в бесчисленных случаях составляет совсем не содержание, которое оно нам предлагает и которое, будь оно предложено в другой форме, быть может, не привлекло бы к себе нашего внимания, а приключенческая форма его переживания, интенсивность и напряженность, с которыми оно позволяет нам именно в этом случае ощутить жизнь. Именно это сближает молодость и приключение. То, что называют

[223]

субъективностью молодости, есть, в сущности, лишь ее отношение к материалу жизни в его объективном значении, как к чему-то менее важному, чем лежащий в ее основе процесс, чем сама жизнь. То, что старость «объективна», что она создает из содержаний, оставленных ускользнувшей жизнью в особом виде вневременности, новое построение, являющееся результатом созерцательности, объективного взвешивания, свободы от беспокойства жизни в настоящем, — все это и делает приключение чуждым старости, ведет к тому, что старый искатель приключений кажется нам отвратительным или не соответствующим своему положению; нетрудно вывести сущность приключения из того, что это —

несвойственная старости форма.

Все определения и положения в жизни, которые чужды, даже враждебны форме приключения, не предотвращают того, что в рамках самого общего аспекта приключение примешивается к практике каждого человеческого существования, что оно служит повсюду присутствующим элементом, который лишь во многих случаях выступает в самом тонком распределении, как бы макроскопически невидимым и скрытым в явлении другими элементами. Независимо от уходящего в метафизику жизни представления, будто наша жизнь на Земле как целое и как единство есть приключение, в чисто конкретном и психологическом рассмотрении следует признать, что каждое переживание содержит некоторое количество определений, которые, достигнув известной степени, приводят его к «порогу» приключения. Самое существенное и глубокое из этих определений — вычленение событий из общей связи жизни. Действительно, принадлежность к жизненной связи не исчерпывает значения ни одной части приключения. Даже там, где такая часть самым тесным образом связана с целым, где она в самом деле как будто растворена в течении жизни, подобно самому по себе не подчеркнутому слову в произнесенной фразе, — и там при внимательном слушании различается собственная ценность этой части существования, своим находящимся в его собственном центре значении такая часть *противопоставляет* себя тому тотальному развитию, которому оно, будучи рассмотрено с другой стороны, нераздельно принадлежит. Как богатство жизни, так и ее беспомощность во множестве случаев проистекают из этой двойственности ценностей ее содержаний. Рассмотренное из центра личности каждое переживание представляется как необходимым, развившимся из единой истории Я, так и случайным, чуждым этому единству, непреодолимо отграниченным и окрашенным глубоко лежащей непостижимостью, будто оно

[224]

находится в некоей пустоте, ни к чему не тяготея. Так тень того, что в своем уплотнении и отчетливости создает приключение, ложится, собственно говоря, на каждое переживание; каждому из них присуще, наряду с его включенностью в цепь жизни, известное чувство замкнутости в начало и конец, некое решительное акцентирование отдельного переживания как такового. Это чувство может уменьшаться, становясь совершенно незаметным, однако латентно оно

присутствует в каждом переживании и подчас, к нашему удивлению, поднимается из него. Нам не известна столь ничтожная дистанция от постоянства жизни, при которой не могло бы возникнуть чувство авантюриности, впрочем, не известна нам и столь большая дистанция такого рода, при которой оно должно было бы возникнуть для каждого; все не могло бы стать приключением, если бы элементы приключения в какой-то степени не находились во всем, если бы они не принадлежали к витальным факторам, которые позволяют вообще считать событие человеческим переживанием.

Так же обстоит дело с отношением между случайным и осмысленным. Во всем происходящем, нам встречающемся, находится столько данного, внешнего, случайного, что следует ли считать целое чем-то разумным, постигаемым по своему смыслу, или исходить из того, что окраску этому целому придает его неразделимость в прошлом и его неопределимость в будущем, — является лишь вопросом количества тех или иных его свойств. От самого надежного буржуазного предприятия к самой иррациональной аванюре ведет непрерывный ряд явлений жизни, в которых постигаемое и непостигаемое, вынужденное и милость, исчисляемое и случайное смешиваются в бесконечно различных степенях. Именно потому, что приключение определяет одну крайность в этом ряду, его свойства разделяет и вторая сторона. Скольжение нашего существования по шкале, на которой каждое деление определено одновременно действием нашей силы и зависимостью от непроницаемых вещей и сил, эта проблематика нашего положения в мире, которая в религиозном понимании принимает облик неразрешимого вопроса о свободе человека и Божественном предназначении, — превращает всех нас в искателей приключений. В положении, в которое ставит нас соотношение сферы нашей жизни и ее задач, наших целей и наших средств, мы не могли бы и дня прожить, если бы не относились к тому, что в сущности неопределимо, как к определимому, если бы не доверяли нашей силе в том, чего в сущности может достигнуть она не одна, а лишь в сочетании с таинственной деятельностью сил судьбы.

[225]

Содержания нашей жизни непрерывно охватываются беспорядочно движущимися формами, которые таким образом создают ее единое целое: повсюду действует художественное формирование, действует религиозное

восприятие, окраска нравственных ценностей, отношение между субъектом и объектом. Быть может, во всем этом течении нет места, где бы каждый из этих и многих других видов формирования не окрашивал хоть каплю его волн. Однако только там, где они из фрагментарных и смешанных степеней и состояний, в которые поднимает и опускает их обычная жизнь, достигают господства над материалом жизни, они превращаются в те чистые образования, наименование которым дает язык. Как только религиозная настроенность создала из самой себя свой образ Бога, она стала религией; как только эстетическая форма придала своему содержанию вторичную значимость, в которой она живет лишь внимающей себе жизнью, она стала «искусством»; лишь тогда, когда нравственный долг выполняется потому, что он есть долг, независимо от его меняющихся содержаний, которые раньше, в свою очередь, определяли волю, он становится «нравственностью». Не иначе обстоит дело и с приключением. Мы — искатели приключений на Земле, наша жизнь полна на каждом шагу напряжений, которые составляют приключение. Однако лишь тогда, когда они достигают такой силы, что господствуют над материалом, который лежит в их основе, возникает «приключение». Ибо оно состоит не в содержаниях, которые при этом обретаются или теряются, которыми наслаждаются или от которых страдают, — все это доступно нам и в других формах жизни. Приключение отличает радикализм, посредством которого оно ощущается как напряжение жизни, как рубато* жизненного процесса независимо от его материи и присущих ей различий; простое переживание превращается в приключение, когда количество этих напряжений достаточно велико, чтобы, минуя материю, вырвать жизнь из обычных рамок. Конечно, приключение есть только часть бытия наряду с другими его частями, однако оно относится к тем формам, которые помимо своего участия в жизни и всех случайностей их единичного содержания, обладают таинственной силой, позволяющей на мгновение ощутить всю сумму жизни как их реализацию и основу, данную только для их осуществления.

[226]

* Музыкальный термин, означающий дозволенность свободного исполнения, не требующего точного соблюдения длительности нот (итал.)